

Глеб Иванович Успенский

Деревенские встречи



Глеб Иванович Успенский
Деревенские встречи
Серия «Очерки и
рассказы (1862–1866 гг.)»

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664825

Аннотация

«Деревенские встречи» – первое произведение писателя, принятое Некрасовым к напечатанию в «Современнике», вторым были «Нравы Растеряевой улицы». В рассказе Успенского изображены среда провинциального духовенства и по-своему протестующий против этой среды дьякон Медников. Подобно другим писателям-демократам того времени – Н. Успенскому, А. Левитову и др., Успенский показывает невежество, неразвитость и стяжательство служителей религиозного культа. Недаром этот очерк привлек внимание цензуры.

Содержание

I	4
II	15
III	41
Примечания	50

Глеб Иванович Успенский

Деревенские встречи

I

Нечаянные гости

Под вечер в доме литовского дьякона на столе кипел большой красный, с зелеными потеками, самовар, из аляповатой решетки которого по временам с треском вылетали большие искры. Дело происходило в комнатке с почерневшими стенами, большой стряпушей печью и маленькими четырехугольными оконцами, к которым большими гвоздями были прибиты тончайшие кисейные занавески с бахромой из красных шерстинок. За образом была заткнута большая кленовая ветка, далеко стлавшаяся по потолку: ветка эта, повидимому, служила непрерывным воспоминанием о дне «святыя троицы», но в сущности была предназначена для мух: мухи садились на нее, и поэтому их было меньше в комнате. Кое-где на стене болталась лубочная картинка, приколотая булавкой; вообще комната была бедна и грязна: чистая половина дома, только что отстроенная после пожара, стояла без рам, и поэтому там еще никто не жил.

Нечаянных гостей собралось довольно: кроме меня и при-

ехавшей из посада мещанки, в комнате присутствовали: дьяконица, сам дьякон и дьяконский племянник, молодой исключенный семинарист. При появлении своем в горницу он несколько смутился, увидав чужого человека, и тотчас же было снова попятился в сени, но дьякон вытащил его оттуда за руку. Семен Матвеич (племянник) отошел к печи, кашлянул, тронул рукой шею, опять кашлянул, встал, сел, – вообще чувствовал себя неловко; но благодаря табаку, который предложил ему я, знакомство мало-помалу завязалось: незаметно от неудобств, сопряженных с добыванием в деревне табаку, о чем сообщил он мне, разговор перешел к охоте, к перепелам, и Семен Матвеич оживлялся все более и более. Скоро он уже, видимо, не стеснялся своим нанковым сюртучком, запыленным и отсыревшим, ни своими длинными охотничьими сапогами, ни вообще сознанием своей деревенской фигуры и неуклюжести. С каждым словом все больше выяснялась эта личность, страстно преданная деревенской жизни и природе, не имеющая никакой возможности как бы то ни было переродиться, делать не то только, что считается нужным у других, а только то, что можно любить делая, будь это охота на перепелов или ужение рыбы по целым дням. Разговорившийся Семен Матвеич постоянно встряхивал своими слегка вившимися белокурыми волосами, которые тотчас же снова закрывали половину лба, удерживаясь над бровью. Говорил он скоро, как скоро делал тощую папиросу и потом выкуривал ее в два-три приема, пуская в окно большие облака дыма,

уносимые мгновенно вверх отсыревшим после проливного дождя воздухом.

Разговоры плелись вяло: вспоминали родных, причем дьякон всякий раз с умилением взглядывал на меня и, качая головою, говорил:

– Ах, боже мой, ах, боже мой, – я все гляжу-гляжу, – какая измена в лице? а как скоро время-то? Подумаешь – господи! Кажется, одна минута! – и т. д. Этому вторила и дьяконица, не менее своего супруга ахавшая и ужасавшаяся быстроте полета времени. Надоедало толковать о родственниках, – принимались благодарить бога за сегодняшний дождь; посадская мещанка и Семен Матвейч особенно плодовито говорили на эту тему: гречи, сена, овсы и проч. не сходили у них с языка; и нужно сказать правду, поэтический Семен Матвеевич умел заставить полюбить эти овсы и гречи человека, ничего не понимающего в хозяйстве: так хорошо умел он изобразить благодать, посланную дождем, – не указывая на рыночные результаты этой благодати. Иногда разговор отклонялся от этих хозяйственных предметов, – и дьякон с Семеном Матвеевичем затевали Какой-нибудь спор, заставлявший дьякона восклицать:

– Ну да, так, так: по-вашему, мы выходим все дураки...

Вообще Семен Матвейч был героем вечера, и когда, наконец, все присутствующие в комнате замолкли, – он все-таки продолжал говорить, не переставая. На этот раз он с особенным увлечением восхвалял деревенские прелести:

– В деревне-то скучно? – говорил он. – Никогда! Да знаете ли, что из города-то я ушел? Просто убежал... Не могу! Хоть убей! Да как же-с? Как же не убежать-то? И семинарию бросил... убежал... Жить нельзя – мука... Есть нечего, зубри... Зимой – холод, живешь в яме... К чиновнику придешь, поясница болит, рожа зеленая, кряхтит, слова сказать не о чем. Думаю; да что я? из-за чего в самом деле? Да лучше я в деревню конторщиком: по крайности сыт всегда... Какие такие мне надобны дворцы? Ничуть не бывало! Заведу собаку, ружье, что мне? Зимой натоплю избу – знать никого не хочу... Мужиков набьется, – смех. На гармошке примусь – что угодно: пиэсы, «Не белы снеги...» На разные манеры. Думал, думал – драла!.. Там бумаги пишут: «Самовольная отлучка», то, другое... – Болен! – «...По этапу с ссыльнокаторжными, а равно...» – Болен! С тем и отвертелся... Верите ли, как рад-то! Прибежал домой, прямо в траву... Лежал, лежал – обомлел, такая прелесть... Ей-ей... Поле, лес, охота, – где ж скучать-то? Да теперь меня отсюда – ни-и...

Небо темнело; сверчки начинали перекликаться за печкой; ребята дремали. В сенях дьяконская дочь укачивала ребенка, стучая углом люльки в стену; дьякон вспоминал, что завтра чем свет опять с навозом в поход надо. Кто-то из присутствовавших вздыхал. Наставало скучное время будничного, молчаливого и задумчивого вечера.

– А что, Авдотья Ивановна, – отнесся дьякон к жене: – не пора ли чего-нибудь этак... того?..

Дьяконица сказала: «сейчас!» и отправилась за перегородку. Скоро оттуда послышалось гроыханье ухватов, печной заслонки, треск лучины, и немного погодя яркий свет красного пламени осветил потолок, стену и окно за перегородкой. Старшая дочь накрывала на столе чистую скатерть, расправляя ее рукою, носила тарелки, ложки и вороха хлеба.

– Ну-с, прошу. покорно, – сказал дьякон, когда все было готово. – Не угодно ли. Уж что есть, – не взыщите, бога ради... Сами-то мы кое-как да кое-как, ну, а вот кто-нибудь случится... Да вам водочки не угодно ли?

– Водочки? Можно! – отвечал за всех Семен Матвеич.

– Право; я это сейчас дойду... Напротив...

Дьякон надел шапку, достал из шкафчика в углу маленькую стеклянную бутылку с перечным стручком на дне, засунул ее в карман и вышел в сени, но тотчас же воротился и, всматриваясь в темноту сеней, спрашивал:

– Кто это? Кто тут?

В сенях кто-то тяжело дышал и попадал палкою в стену, щупая дорогу; что-то грохнулось на пол; слышалось ворчанье:

– Ффу, боже мой!.. Никак это я... а-а! да-да-да...

Дьякон подался в сторону; в комнату просунулась рука с палкой, нога, прикрытая рваной полкой, и скоро я узнал странную фигуру одного пешехода, который попался мне на большой дороге. Но стоило нам только пристальнее, хоть с минуту, остановиться на этом отеком лице гостя, его чер-

ных глазах, услышать еще раз звук его голоса, чтобы и я и все находившиеся в комнате узнали в госте Ивана Никитича Медникова, общего родственника, который пропадал до этого времени целые годы неизвестно где. Стоило узнать Медникова, и никто не мог удержаться, чтобы невольно не вздрогнуть при этом, потому что у всех, знавших его, мелькнуло сразу множество самых неприятных – своим печальным смыслом – воспоминаний. Перепугавшиеся дьякон и дьяконица не знали, что сказать. Дьякон, впрочем, кое-как перемогся и, сложив уста в улыбку, заговорил: «Боже мой, боже мой! какая измена в лице!», – но Иван Никитич остановил его строгим взглядом, брошенным искоса, подошел к образу и с театральным жестом делал огромного размера кресты.

– Какая измена в лице! – бормотал дьякон, усаживая гостя за стол. Гость был крепко хмелен и утомлен. Он почти не говорил, а с ним боялись заговорить, потому что не знали, скажет ли он на это что или прямо начнет драться. Никитич сидел, облокотившись локтями на стол, туго поворачивал голову и неподвижно останавливал глаза на ком-нибудь из находившихся в комнате; отрывисто вздыхал, как вздыхает тяжело пьяный человек, бормотал «мм-дда!», или вдруг запускал руку в карман, выворачивал его, вытаскивал оттуда копейку и вместе с кучей сора, наполнявшей карман, вываливал ее на стол; потом упирался пальцем в эту копейку, нахмуривал брови, думал и вдруг снова брал все это в горсть и тащил

к себе, вместе со скатертью. Всё это видели в Никитиче и прежде, во всем этом не могли ничего понять, но боялисьдохнуть, потому что знали, что Никитич может вдруг раскроить голову. Немало изумились дьякон и дьяконица, увидев, что Медников уплел целую сковороду яичницы, несмотря на то, что были Петровки и что Медников был лицо духовное. Едва выпил он рюмки две водки, как глаза его почти тотчас же из мутно-пьяных приняли грозное, ненавистное, давно знакомое нам выражение. Дьякон опасался грозы, ибо чувствовал, что она может последовать каждую минуту, и мучился еще тем, что положительно не знал, за что она может последовать, не знал, с какой стороны и в каком роде угождать Никитичу. Поэтому он кашлянул слегка и, осторожно придвигаясь к гостю, заговорил:

– Отдохнули бы, Иван Никитич, чай, с дороги-то...

Иван Никитич устремил на него упорный взгляд, но дьякон, устояв кое-как под напором этого взгляда, потихоньку пропускал ему руку под локоть и продолжал;

– Право! Опять же и время, да и мы-то...

Пока дьякон возился, укладывая спать ворчавшего басом Медникова, вся остальная братия собралась на крылечке – посидеть. Ночь была темная, дул ветер, и по небу неслись стаи дождевых туч; по временам кое-где тучи эти разрывались, пропускали в образовавшуюся прогалину клочок светлого пространства и смыкались снова. В избах и постоянных дворах светились еще огоньки, отбрасывая на стекла окон те-

ни ужинавших извозчиков; у ворот постоянных дворов висели фонари с сальными огарками, оттопыриваясь на коротких гвоздях и освещая снизу пучок трепавшегося по ветру ковыля. Баба-дворничиха зачем-то вышла на крыльцо со свечкой; огонек свечи, казалось, только горел яркой звездочкой во тьме, но не светил далеко. Колеса медленно проезжавшей повозки застучали по бревенчатому мостику, перекинутому через шоссейную канаву, и чуть слышно покатались по земляной дороге мимо постоянных дворов. Спустя немного слышался разговор:

– Самоварчик-с? Можно... можно... Это сколько угодно...

– Нет, самовара не нужно...

– Ну, как вам будет угодно... Как угодно-с... А то, ежели в случае чего самовар потребуется, – так это в одну минуту... Потому у нас в трубу произведено... когда угодно...

– Нет, самовара не нужно...

– Не нужно? Ну, как угодно... Это как вам будет угодно... Конечно... Я к тому говорю, в случае ежели самовар потребуется, например...

– Почем овес?..

– Ах, боже мой! Неужто ж мы... Что мы такое? Господи боже...

– Почем овес-то?

– Да будьте покойны, сделайте милость... Аль мы что-нибудь... Что с других, то и с вас...

– С других-то это ты сколько хочешь... С нас-то сколько?

– Да будет вам... О господи боже мой... Чай, по времени-то сами знаете... Сами тоже деньги какие платим... Пятьдесят копейчек...

– Э-э-э!..

Слышны удары кнута.

– Стой! стой!.. Куда же вы?.. Позвольте...

– Н-но, идол... э-э-э...

Колеса снова стучат по шоссе. Удары кнута повторяются в усиленной степени.

– С пятаком за Дунай поехал, – грубо заключает мужеской голос.

Дьякон вошел на крыльцо и опустился на лавку.

– Ффу, боже мой... Устал. И какой беспокойный этот Медников... даже совершенно утомился... Ей-богу:.. «Послушай да погоди...» – «Спите, говорю. Сделайте ваше такое одолжение...» – «Прости меня...» – «Будьте покойны... Спите... Что такое? в чем?» – «Прости... виноват...» Чудак...

– Совсем смотался, – произнесла дьяконица. Отец дьякон только вздохнул.

Становилось все тише и тише. В кабаке, на продолговатых окнах которого торчали какие-то бутылки с красноватою жидкостью, слышалась песня и стучали чьи-то пьяные ноги.

Почти все сидели молча; дул ветер, и по временам издали доносилось:

– Э...Э...Э...Э...

– Куда же вы? Пойдите, – останавливал другой голос. –
Сделайте милость!..

– Э...Э...Э...

И опять удары кнута сыпались на лошадей, а колеса стучали по грохотавшим бревнам мостика.

– Не пора ли, господа, на покой? – сказал дьякон.

– И то!.. – сказали все.

– Право. Время... Да и опять с дороги-то вы... отдохнуть...

Все пошли спать. Семен Матвеич остановился в сенях с дьяконскою дочерью и сказал:

– А что, ежели к вам забраться?

– Только посмейте...

– Ей-богу! Что ж за важность? Нешто меня в Сибирь за это?

– Да и не знаю, что я тогда с вами сделаю...

– А вот посмотрим... Любопытно!..

Семен Матвеич говорил это и в то же время отворял дверь в чистую половину, где нам пришлось спать. Утомленный ходьбой целого дня, Семен Матвеич был как-то неразговорчив, да и сон одолевал его, как уставшего ребенка: глаза так и слипались. Лежа, начал он стаскивать сапоги; снял один, принялся другой снимать – что-то туго идет. Семен Матвеич сказал: «О, шут тебя... и так!» – повалился и заснул в одном сапоге.

...Улеглись все, лег и я, но не спалось. Ветер, урывками залетая в окна, не защищенные рамами, свежую дождливую сыростию обдавал мое лицо и шевелил сухими стружками, валявшимися по углам и на полу комнаты. Среди темноты и тишины ночи мне как-то особенно настойчиво лезло в голову все, что только я когда-нибудь имел возможность видеть или слышать о Медникове, и поэтому фигура его все определеннее выступала предо мною.

II

Никитич

Еще в ту далекую пору, как мне впервые приходилось видеть Медникова или слышать что-нибудь про него, — имя его способно было уже производить такой же трепет и ужас, какой обуял теперь все семейство литовского дьякона; и тогда едва ли не во всей Т-ской губернии весь духовный кружок знал хоть понаслышке про тьмы тем всяческих безобразий и беззаконий, которые неразрывно следовали за именем Медникова и положительно не допускали мысли насчет какой-нибудь терпимости этой буйной головы в мирной жизни, потому что действительно Медников был осужден всею своею природой никогда не жить и не уживаться с этой жизнью. Тем более нетерпим и ужасен был он среди своих деревенских родственников, которые должны были переносить его беспутства, — почти обязательно, не сходясь с ним при этом ни в чем. Все характерные особенности деревенских родственников, которые отгораживали от себя личность Медникова, имели возможность выказаться вполне благодаря случаю, который можно считать почти общим для всего духовного мира.

Как только количество ребят возрастает настолько, что их нет никакой возможности усадить в телегу и даже в две, от-

ношения деревенских родственников начинают слабеть, дружественные связи стусеиваются, потому что за многочисленностью ребят посещение именин и храмовых праздников становится почти невозможным. Ребята, между тем, появляются все в большем и большем количестве, родственники стареются, и настает пора, когда не пишется даже поздравительных писем к рождеству и святой, – родственники как будто исчезают друг для друга с лица земли и забываются. Тишина царит. Вдруг по селам и деревням проносится, как вихрь, весть, что такой-то из числа множества племянников, только с год места успевший определиться в писцы губернского правления, – так препрославился, такие делает дела, что уму непостижимо; управляющий сажает его за один стол с собой, в лавках он забирает все без денег: мука, крупа, свечи, все непокупное, и кроме того, ежели захочет, то может кого угодно отдать под суд и в Сибирь сослать... Это сразу поднимает на ноги приунывших родственников; восстанут они поголовно до десятого колена, припоминают разные обиды и поношения, припоминают тысячи нужд, начиная от башмаков и жениха для дочери, от корыта – до разорвавшейся шлеи и кончая жалобой на благочинного и даже далее, до бесконечности... Поднимаются эти десять колен, запрягают, для большей жалости к своей фигуре, самую тощую, самую ободранную лошадь и спешат на разгоревшийся огонь – отогреть свое изболевшее всяческими горестями сердце. Вместе с тайною надеждою на подачку с первых же шагов

в городе родственнику приходится испытать еще и трепет по мере приближения к цели: на каждом шагу он убеждается в действительной славе своего племянника, – потому что стоит ему спросить у встречного: где живет такой-то? – как этот встречный тотчас же снимает шапку и тогда только отвечает: там-то. Огромные новые ворота, к которым темным вечером подползли сани деревенского родственника, огромные сараи, конюшни и десятки сажен дров, разместившиеся на дворе, – все это рисовало в голове его какого-то богатого Лазаря, на котором даже ваточный халат почему-то казался пурпуром и виссоном. Сообразно с таким величием дух и тело родственника умахались до последнего предела, он не иначе решался показать свои глаза в комнату, как узнав предварительно в кухне: «не почивают ли?» Умывался, расчесывал волосы, с женоподобной физиономией шел в горницу, перекрестившись перед дверьми. Прославившийся племянник оказывался разжившимся секретарем, обладавшим всем, чему завидуют живущие впроголодь: жена высокая, тихая, постоянно беременная, дом полная чаша, жизнь ленивая и почти всегда неряшливая, дети смирные, послушные, с большими головами, золотухой и отупевшим взглядом. Увидав все это, деревенский родственник не смеет даже сесть к столу и пьет чай у двери, держа стакан на колене, и в это время убитым голосом передает все деревенские новости, заканчивая их известием о разнесшейся по всем селам и весям славе его, племянника, чиновническое лицо кото-

рого деревенский родственник созерцает в эту минуту. Последнее известие приятно действует на племянника, и деревенский родственник получает право неутеснительного житья, чем он и пользуется по-своему, выказывая при этом такие качества, имена которым можно брать только из истории ветхого завета, и притом не позднее появления десяти заповедей: «любостяжание», «лжесвидетельство», страстное желание «чужого осла и вола и всякого скота». Это обнаруживается на другой же день, тотчас же по уходе племянника в должность. Родственник выходит «поболтаться» по двору; при дневном свете все эти сараи, водовозки, закромы овса и проч. и проч. до такой степени раззадоривают его библейские похоти, что родственник, ни минуты не задумываясь, решается вступить в знакомство с кучером; а так как кучер представляется ему тем, что в старинных книгах, сказках и житиях встречал он под названием «царедворец», то и знакомство с этим царедворцем родственник начинает исподтишка, ласково, вкрадчиво, говорит ему «вы», узнает, сколько лишних хомутов, шлей и проч. и проч., и своею обходительностью побеждает мрачный вид кучера, который скоро беспрепятственно вручает ему эти лишние хомуты. А когда племянник возвращается из должности, то бывает несказанно изумлен, наткнувшись в передней на гору собранного утром хлама; гора эта начинает шевелиться, и скоро из середины ее выдвигается умиленная физиономия родственника и произносит:

– Не покупись!

– Берите, берите! – махая рукой, говорит племянник.

– Отец!! – трагически заключает родственник, ныряя в середину горы, и тотчас же увлекает ее на двор, шаркнув о придорожки. Через минуту он возвращается с черного крыльца и начинает разговор совершенно в другом роде: «Что же те перича главно-то-управляющий у вас, полный генерал или как?» и т. д. Вслед за тем родственник постепенно обрушивается на племянника множеством просьб, вымаливает ненужный платок, одеяло, галстук, стакан и, нагрузив свои дровни, уезжает восвояси.

Никаких подобного рода любостыжательных качеств не имел Медников, даже самое появление его в городе у родственника не носило такого униженного характера. В городе он являлся не по каким-нибудь своим делам, – ибо таких не было, – а единственно для «толчения воды», каковое глубокомысленное занятие предоставлялось ему не в пример чаще других. Поэтому, прежде нежели Медников появлялся в городе, – ему предшествовали разные предзнаменования, как о приближении сильной бури свидетельствует ползучий ветер, поднимающий песок и пыль. Пред появлением его в дом чиновника являлась какая-то консистерская особа: имея сообщить нечто нужное, она ломалась и хранила до тех пор тайну, пока племянник не упитывал и не упаивал ее всем, чем мог; тогда только особа эта извещала плохо возвращавшимся языком, что Медников опять напрокудил: начал расслужи-

вать молебны: ни господи, ни помилуй, ни аминь и т. д., или нарядил в какие-то неприличные костюмы поповских поросят, желая этим насолить отцу Василию, или что-нибудь еще в подобном крайне безобразном и кощунственном духе. Следовали просьбы притушить дело, но скоро получались новые доносы о буйствах, и Медников неизбежно должен появиться в городе. С этого дня начинались самые тревожные ожидания. Через несколько времени начинали носиться слухи, что он уже здесь, что его видели в том или другом кабаке, и вот наконец, в ту самую минуту, когда и не ждут его, когда уже немного поуспокоились, в дверях появляется его ужасная фигура, с зачесанными назад поседевшими волосами, открывающими огромный лоб и большие черные, ужасные глаза. Он пьян, шатается и безо всяких церемоний приказывает заплатить извозчику, попирает всякие семейные приличия, растягиваясь по полу или с грязными сапогами забираясь в залу и т. д., что все было причисляемо к числу ужасов, которые изобиловали в Медникове. В доме родственника тихая жизнь замирала, наставлял какой-то лютый холод и лютое молчание, всеми мерами напрягавшее голову, как бы только отделаться от этого гостя. А гость и сам напирал только на это. Все отношения его к племяннику ограничивались получением трех целковых, пропиванием их и опять получением. Если же почему-нибудь выдача этих целковых замедлялась, то Медников принимал усиленные меры, стараясь действовать так, чтобы отвращение к нему, к его особе, заста-

вило поскорее выпроводить его. Ни водовозки, ни хомуты не составляли его забот, благодаря той бездомности, которая, между прочим, была его главной особенностью: во всю жизнь ему не довелось съютить своего гнезда, своего хозяйства. На храмовые деревенские праздники он приезжал на чужой лошади с наемным работником; убогая одежда его, убогая повозка – одно это ставило его особняком от других пирававших собратий. Но кроме этого, картину бездомного житья, не имевшего ни малейших признаков внутреннего тепла, особенно ярко дорисовывала убитая жена Медникова. Это было маленькое оборванное существо, с постоянными слезами на глазах и с багровыми хмельными пятнами на одряблевших щеках. Сначала тихая и унылая, она старалась сохранить скромный и озабоченный вид деревенской хозяйки, со сложенными на груди руками, сжимавшими носовой платок, пробовала она сидеть между своими деревенскими родственницами – попадьями и дьяконицами, охала вместе с ними над разными обуревающими их печальями и потом исчезала куда-нибудь в чулан, являясь оттуда только под вечер, и то вследствие особенно сильного и бурливого хмеля. В это время она даже и насильно не могла походить на своих домовитых и чинных родственниц, потому что хмель прогонял из нее и наружную скромность и всякое, еще недавно признаваемое почти законным, уважение окружающих дел и слов: хриплым голосом и нетвердым языком, со слезами и со злобою, которую и представить себе трудно среди жизни,

основанной на нянченье ребят и проч., начинала она проклинать свою каторжную жизнь. Громко, вслух договаривала она, опьяневшая, концы каких-то накипевших в ее душе жалоб и убивалась до тех пор, пока разгулявшиеся и начинавшие уже затягивать «заиньку» родственники не находили нужным уложить ее спать. Долго слышались из-за закрытых дверей чулана ее крики и глухие удары кулаком в стены, – но когда прекращались они, никто не имел возможности заметить, потому что все эти «никто», проснувшись поутру с хмельными головами, – уже встречали жену Медникова с тем же скромным лицом, с тем же насильственным вниманием ко всем, как и вчера утром; только еще более изможденное, еще более унылое лицо и засохший над бровью шрам – говорили им о мучительной ночи, которую провела она.

Выражавшаяся в таких безэффектных, но слишком правдивых и поэтому невольно отталкивавших картинах, – погибель, кажется, не встречала себе избавителя, потому что с годами чаще и чаще начали доноситься слухи о безобразиях Медникова. В безобразиях этих были все атрибуты, обставляющие погибель русского человека: и кровь, и водка, и разбитая голова, и разбитый полштоф, и т. д. Все глубже падал он, и беспутная жизнь становилась для него все более неизбежною. Не донимали его разные отдачи под начало, не донимала даже водка, которая только калечила его, но не в силах была доконать наповал. Наконец пронесли слухи, что у

него умерла жена: рассказывали, что Медников убил ее; начальство запретило ему служить. Медников шлялся по монастырям, из которых почти тотчас же выгоняли его, и потом несколько лет совершенно пропал из виду у всех: изредка встречали его в Засеке, на большой дороге, в кабаке, и притом в самом отвратительном виде. Ясное дело – погиб человек.

Но кто видал Медникова в его нормальном, то есть пьяном, буйном и дико-разрушительном состоянии, тот, наверное, изумлялся, увидав его хоть в одну трезвую минуту его жизни; в эти минуты решительно невозможно было узнать Медникова: все соединенные с его именем качества, вызывавшие потребность куда-нибудь спрятаться от одного появления его, – исчезали совершенно. Медников в эти минуты настолько сдавался во мнении своих врагов, что при всей мелкости своей враги эти, вместо какого-нибудь топорного отмщения, чувствовали к нему такую же снисходительную жалость, какая чувствуется к виноватому ребенку. В эти минуты он действительно был ребенком, страшно конфузливый, робеющим перед серьезными лицами окружающих его людей, робеющим потому, что в этой серьезности людской видится ему страшное превосходство, – все равно, если с этой серьезностью кухарка чистит картошку или чиновница сидит, ничего не думая, у окна; в эти минуты если и подозревается людская пустота, то убедившийся в своих недугах человек всеми мерами постарается оттолкнуть это подозрение

и растолкует все в свою невыгоду. В трезвые минуты физиономия Медникова принимала какой-то, худо скрываемый, виноватый вид; всегда нахмуренные брови выпрямлялись и как-то беспутно пятились кверху; постоянно гневное выражение глаз заменялось совершенным смущением, не позволявшим смотреть прямо в лицо человеку, перед которым считаешь себя виноватым; к этим обесмысливающим лицо признакам в это время присоединялась еще какая-то улыбка, которая то появлялась вдруг и не сходила даже в то время, когда Медников просто брал со стола чай, сахар, какие события не заключали в себе ничего юмористического, то, напротив, мгновенно исчезала, заменяясь какою-то искусственной серьезностью. Побежденный окружающей обстановкой, Медников рад-радехонек был, если замечал, что хоть что-нибудь и его привязывает к числу этих серьезных людей: он делался предупредительным, заискивающим. В такие минуты, кто хотел, мог вертеть им как угодно. Он с охотою принимался переписывать гимназисту записки «о вычитании» и был непритворно рад, когда пискливый первоклассник находил, что он верно написал; если этот гимназист заставлял его читать вслух Езоповы басни, то с наименьшим рвением принимался он и за это дело, с отчетливостию выговаривая каждое слово басни, повествующей о том, как лисица, встретив барсука, объявила ему, что дела идут так-то и так. Это совершенно детское смущение перед чуждой ему жизнью, перед чуждыми ему добродетелями всегда бы-

вало большою помехою в его жизни, эпизоды из которой он в трезвые минуты иногда рассказывал.

Деревенские деды его рисовались в детском воображении такими же страшными гигантами и силачами, образы которых с особенною любовью очерчивают старушечьи сказки. Что-то невероятно дикое было в этих мужиках, всю жизнь возившихся с сохою и бороной и не имевших поэтому никакого случая выказать своих природных сил, кроме полной возможности ошарашить народ каким-нибудь невероятным подвигом своих невероятных мускулов. Из такой породы выходил и Медников. Но голова его, до тонкостей успевшая уже постигнуть кратчайшие пути к разрушению галочьих гнезд на колокольне, имела возможность не остановиться на том скудном материале для соображения, который дает обстановка сельской жизни: его отдали в училище. Новое место и новое дело заняло его.

– Сначала, – рассказывал Медников, – я прилежно и хорошо учился... Попался мне товарищ Лукин. Заманил он меня в лодыжки играть. Что-то понравились мне лодыжки эти, – только совсем бросил я науки... Отдали Лукина потом в солдаты. Остался один, думал-думал – нету мне товарища! Оробел; принялся опять учиться. Повинился. Перевели меня в реторику, – замечаю я в книге одной слова: «Самая высокая премудрость – суета». По этим словам я взял и исключился... Хотели меня отпороть – не исключайся. Услыхал об этом, перестал в класс ходить, чтоб не отпороти. Прихожу

домой пешком. Зачем? Объявляю: так и так – исключился... Попились слезы. Самому мне стало горько. Повалился отцу в ноги, – в саду было дело, плачу и говорю: «Батюшка! Помилосердуй меня! Я человек... Я заленился... Прости меня. Ежели хочешь – то накажи». Простил отец. «Что же я с тобой буду делать! Куда я тебя дену?» – «Батюшка, Никита Петрович! Отвезите меня ко владыке. Куда я гожусь: в солдаты – в солдаты, куда хотите, туда и киньте...»

Много жизни было в нем. В эту пору попалась ему молодая дворовая девушка, побежденная сразу одним взглядом его огненных глаз. Пошло дело по-своему.

– ...Потащила в сад, – рассказывал Никитич. – Деревья большущие – ночь, духота, и туча висит... Шли, шли – так и кидается! так и кидается!.. «Отвяжись!» – «Голубчик! Милый мой!» – «Отстань. Поди прочь!.. Уйду...» Главная досада – сама; терпеть не могу, – говорю: «Ни за что на свете!..» – «Утоплюсь!» – «Топись, чорт с тобой...» А тут сажелка¹... Гляжу, – что ж бы ты думал? по эстих пор в воду!.. Э-э, думаю, пожалуй чего доброго! Бросился – вытащил. Усадил на лавку, говорю; «Что ты, ошалела?» Смотрит на меня, как сумасшедшая... Ей-богу, даже я испугался; что с ней такое? Между, прочим не сдаюсь... «Изобью!» Молчу. «Зубами разорву». Молчу. Принялась кусать меня, за волосы, бить, и вдруг заплакала... Да как ведь залилась-то! Белый свет зачинался, заря... «Отведи меня, говорит, Никитич, до-

¹ Сажелка – запруда, прудок для сохранения живой рыбы.

мой...» Еле движется... Жалко стало...

«Дня через два встречаю: глаза в землю, как убитая... Подошел, взял за руку, – повел... Думаю: вот теперь моя! Хотел тоже, как добрые люди, честь-честью, самовар раздобыл, думаю: угощу... Во флигеле каморка была, забрались туда. Оконце махонькое, заварил я этот самовар, как попер оттуда, братцы мои, дым. Ни дохнуть! Слышу, на дворе кто-то орет: что за дым? кто такой? Думаю: провались ты и с самоваром совсем, толкнул его ногой под лавку... Пойдем! И пошли мы в рощу...»

И любил Никитич хорошую девушку сильно, только все-таки по-своему любил...

– Замечаю я, – продолжал Никитич, – будто она поглядывает маленько. «Сма-атри», говорю... И этому молодцу тоже внушаю: показываю кулак, говорю: «Видел?» – «Как не видать...» – «То-то, полегче бы...» Тем временем, однако, слышу, галдит народ: так и так, присматривай... «Э-э, думаю, милая...» Выбрал время, вызываю: «Пойдем!» – «Пойдем!...» Повел ее в сад. Идем; разговариваю с ней так-то; все дальше да дальше... Отвел в самый зад, – свистнул... Так она и зашаталась, потому, как только свистнул я, – сейчас из кустов человек пять народу (братию эту я нарочно для секунды припас, с прутьями). «Ты что же, говорю, любезная, так-то?.. Ребята! Ну-ко!» Сейчас ее обземь... верите ли, то есть так жутко стало!.. А она как мертвая... И сам-то я, признаться, ошалел... Но, однако же, перемогся, и, сказать по

чистой совести, взодрали мы ее препорядочно!..

Но на этой дороге деревенского «лихача-кудрявича» смиренным глазам отца он казался каким-то «разбойником», «живодером». Оставлять дело в таком виде было невозможно, из опасения нажить уголовщину; нужно было прибегнуть за спасением к начальству, вследствие чего скоро повезли Никитича ко владыке. Дал ему владыко «Апостол» почитать, на пробу – знает ли что? и когда Никитич дернул своим деревенским баском – «*brate!*», то владыко только дрогнул всем телом от его ужасного голоса и, ласково сообщив при конце беседы, что нужно читать не *brate*, а *во дни оны*, – определил его в певчие. Когда известили об этом решении Никитича, он сказал: «Куда мне... У вас бочки, а я капли в рот не беру». – «Ну это, брат, сочинение», – отвечали ему. Не верилось Никитичу, что и он будет этой бочкой, а пришлось быть. И случилось это незаметно. Отравил он свое тело самым приятным образом. Жизнь певчего пришлась ему как раз по натуре, которая требовала в это время самой полной жизни, такой жизни, чтобы каждая жилка жила и трепетала жизнью, каждая крупинка крови не дремала и гуляла живя. Голос Никитича дал ему такую (*покупную*, впрочем) жизнь. Город Т. скоро сделал его своим любимцем. Населенный удалым мастеровым народом, город этот жил по-старому, стараясь находить удовольствия и наслаждения свои по своей натуре; и вот между страстною любовью к кулачным и петушиным боям, между голубиною охотою и соперниче-

ством в нырянии до самого дна неизмеримо глубокой речки Воронки, протекавшей под городом, и проч. как нестерпимо ошарашивающее диво – полюбил этот народ и голос Никитича. Это было до такой степени дивное диво, что любители громящих нот Никитича иногда не выдерживали и принимались в церкви «трепать в ладоши». Если же оказывалось невозможным так выразить свое удовольствие, то обожатели Никитича доказывали это тем, что тотчас же уходили из церкви, как замирало последнее слово «Апостола», – потому что более интересного для них не оставалось ничего. Никитич сделался героем народа, и народ до безумия любил его. Говорит об этом то неизмеримое количество водки, которое вливал в него этот народ, умоляя, например, во время благовещения позабористей долбануть – «и Агарь...» Штофы французской водки вкачивали в него богатые купцы, желая, чтобы он точно так же, еще половчей, прогремел на свадьбе: «и жена да боится своего мужа-а!» И действительно, это время Никитич мог считать самым счастливым в жизни; в это время все его невероятные буйства, – начиная с буйств голоса до разгромления какого-нибудь тщедушного загородного кабачка, – совершались в полном экстазе его дикой и сильной природы. В это время ни о чем не думалось; виделось и слышалось не так, как видится и слышится людям, составляющим своими особами будничную картину мирной жизни, – а так, как видят и слышат пьяные уши и глаза. Но Никитич все-таки оставался тем же деревенским детищем...

Время, однако, брало свое. С замиранием сердца начали замечать его обожатели, что с некоторого времени голос Никитича не так тверд и «верьха» выводит плохо, а иногда и совсем нехватает. «С перепоею», – утешал себя народ, жалел Никитича и потом еще больше убеждался, что дело дрянь. Вышел раз Никитич с «Апостолом», кашлянул словно в бочку и завертел листами. Народ притаил дух... Раскрыл Никитич рот – и ни звука... Засипело что-то вместо громовых слов, кровью налилось лицо Никитича, и сердце замерло сразу у всей набившей церковь толпы. Случилось такое дело в другой, в третий раз, пробовал Никитич по неделям не пить, отрезвлялся, – но не ворочалось назад его исчезнувшее диво: в горле всегда словно чулок шерстяной был заткнут, голос хрипел, и сипел, и дрожал, словно кто Никитича за плечи в это время принимался трясти. Знатоки горевали об нем, не было другого более задушевного сожаления, как сожаления об его золотом голосе...

Горевали они, обожатели его, еще и о том, что в эту пору Никитич погибал в пьянстве самом зверском, самом неистовом. Пил он с горя, и потому он стоял на той дороге погибающих где-нибудь под забором, с раскрытым лбом или с проломленной головой, которая в самое короткое время постигает людей, успевших еще до этого момента расшвырять значительный запас своих сил. Но Никитич был еще в полном соку, он устал только, но не ослабел; и его природные силы, умевшие охранять голову от пролома и всегда хорошо сда-

вавшие всякого рода сдачу, иногда успевали настолько пробудить его опьянелый, но нетронутый еще ум, что Никитич мог хладнокровно взглянуть на свои подвиги, и в таких случаях он находил, что «дело дрянь», что приходится доколачивать себя, тогда как по чистой совести не за что и доколачивать-то, да и доколотишь ли еще? Чаше и чаще начинали приходить ему в голову эти мысли. Покупная жизнь прошла. И Никитич тотчас же увидал, что он хуже всех на свете. Идет, например, он ранним утром, после ночи, проведенной на конце города в какой-то подозрительной лачуге; на длинных ногах его надеты чужие короткие разодранные шаровары; на плечах его чужая, узлами связанная рубаха, которую из милости дал целовальник вместо пропитой; похмельные и сердитые глаза его, созерцающие это рубище, припоминают Никитичу, что все это видит он не в первый, а в сотый раз, и в сотый же раз испытывает какое-то отвратительное ощущение, рожденное самим собой. В сотый раз видит он ни на волос не изменяющуюся картину будничной жизни, которая в лице своих представителей вытаращивает глаза при виде его, Никитича, фигуры. Скверно становится на душе у него, и начинает это деревенское детище задумываться надо всем, на что только упадут его глаза, потому что все больше и больше сознает оно ненужность своего деревенского опыта и смысла в этой чужой жизни, усвоившей, как на зло, всевозможные калечества. Чиновник не спеша идет в должность; барыня гуляет с детками, змей гудит в вышине, дере-

во стоит, а под деревом спит кто-то... И многое множество подобных будничных вещей останавливают его; все это видел он миллионы раз – все это даже надоело ему, как надоело не прочитанная, но сотни раз перелистанная книга, в которой глаза почему-то останавливаются на одних и тех же строчках. И вот теперь все эти подробности принимают совершенно другой вид: их ненарушимое постоянство, переломившее свою стойкостью самое недовольство ими, говорит о чем-то таком, чего всеми мерами хочется добиться; говорит о такой тайне, которая зовет жить, требует не перелистывать, но прочитать книгу всю. И Никитич твердо решается сделать это, ему хочется теперь прочитать и постигнуть эту книгу с первой, заглавной строки до точки при конце, чтобы не быть хуже всех, чтобы самому участвовать в общей картине окружающей жизни. Но попадается ему книга, вовсе не для него написанная. Как только ему пришлось переступить границу из пьющего царства к миру и тишине нравов, – ему пришлось столкнуться с мелким чиновничьим бытом и с бытом городского духовенства: а в этом быту жизни-то никакой и не было как на зло. Представители мира и тишины наметили себе какие-то крошечные цели, вроде прибавки к жалованью или надежды переклеить потолки и т. п., и десятки лет дожидались этого счастливого времени, набивая томительные промежутки ожидания чем попало, всяким сором: дрались и ругались они за цыпленка, перелетевшего к соседям, пороли своих ребят, потому что нельзя же ребят

не пороть, а как только не с кем было ругаться и некого пороть – баловались чайком. Самовары поэтому случаю были заведены большущие, по ведру входило... Потели таким образом они десятки лет, а когда, наконец, потолки были переклеены (прибавки вообще никто никогда не мог дожидаться), – то уж не было никаких стремлений: геморои, поясницы и ревматизмы принимались хозяйничать над ними по-своему, и оставалось только желание, пронесенное в целости через всю жизнь и состоявшее в том, чтобы как-нибудь попасть в царство небесное, ибо в аду жара представлялась до такой степени ужасною, что одна капля воды равнялась целому кувшину холодного квасу, который в сей тленной жизни всякий чиновник выпивал залпом спросонок и с чем расстаться положительно не мог. – Не намечая себе иной цели, кроме желанья не быть таким, как есть, Никитич с искренностию, какой не было в *добрых людях*, понимавших тайну фокуса, присматривался к этой житейской пустоте, будто бы (казалось ему) обставлявшей только самую тайну. Он щупал и разглядывал поодиночке каждую шерстинку в куске сукна и поэтому понятия о целом куске составить не мог. Не разглядев пустоты и мертвенности, которая царит в мирных нравах, Никитич решил прямо стать за кулисы этой жизни, и первый шаг к этому – женитьба. «Надо жениться, – размышлял он. – Что ж так-то?» Дело это совершал в полной трезвости, то есть в полной наивности ребенка. Невеста с первого взгляда не пришлась по вкусу Никитичу, но стоило ему уви-

дочь поднявшуюся по случаю его появления суматоху, эти бледные, испуганные лица всей семьи, стоило услышать, как кто-то в сенях умоляющим шопотом говорил: «Господи батюшка! Хоть бы теперича-то пристроить ее...» Наконец, стоило подглядеть в лице невесты трепет за роковую минуту, наставшую теперь, – и Никитич сказал: «Согласен». Жена попалась не по нем: вялое, больное существо, всеми забытая в семье, как такая девка, на которую никто не позарится, – она сама видела в замужестве свое тихое пристанище, хотела она немногого – именно только того, чтобы ею мог помыкать только муж, а не встречный и поперечный, толкавший ее и в хвост и в голову во время житья в семье. А Никитич и не думал никем помыкать, он сам отдавал себя на чужое помыкание, надеясь, что за него будут думать и таким образом спасут его, не умеющего думать *по-ихнему*, от гибели. Средства к спасению были предложены самые верные: «не пей и сиди дома». Не пил, дома сидел и дурел от скуки Никитич целые полгода. К этому времени жена его успела понемногу войти во вкус *своей* жизни: сначала она была рада-радешенька, что она мужняя жена, может доверху накачивать себя чаем, потом, расправляя крылья больше, начала помаленьку заводить истории с соседями, соседскими кухарками, притягивая сюда Никитича, который дело мог решить только в пьяном виде, и притом не иначе, как осадив всех воевавших своим здоровенным кулаком, а в это время он был трезв, стало быть, только тарасил глаза и соглашал-

ся в одно и то же время с обеими противными сторонами. Жизнь жены входила все больше и больше в свою колею, – в короткое время были, благодаря ей, оцеплены сплетнями два квартала, и начинал пошевеливаться третий... Никитич все сидел дома; смирно сидел и не пил. Чувствовал он, что в такой жизни он ни разу слова не сказал такого, чтобы нужно было сказать; ни разу не подумал, не сознавая при этом, что думает так по необходимости; шагу не сделал по своему желанию. «Скучно», – осмеливался только думать Никитич. Раз подумал так, и два, и три... а потом потихонечку урвался из дому – в кабак! Да две недели и глаз не показывал домой. Случалось, забегал сюда он на минутку, чтобы сорвать со стены какую-нибудь принадлежность своего гардероба, и если ему под руки подвертывалась жена и выла при этом: «Злодей! Что ты с собой делаешь, губитель!» и проч., то он не пропускал случая ответить ей по-своему.

Сорвался, загулял. Загул на этот раз был особенно продолжителен, потому что к этому времени водка успела сделать свое дело: если приходилось в эту пору отрезвляться Никитичу, то только потому, что не на что пить было. В такие немногие трезвые дни случилась с ним одна история, которая дала ему полную возможность к загулу...

– Переезжает к нам во флигель, на одном дворе, – старушка помещица... Богомольница. Захотела она раз отслужить всенощную... Иван Егорыч, священник, встречает меня: «Приходи, говорит, к соседке подтянуть...» – «Отчего

же». Прихожу. Был я, признаться, в то время грешен, но, однако, кое-как языком орудовал и драл лыки вполне. Отслужили; все честь-честью. «Чайку не угодно ли?» – «Позвольте...» Вижу, старушка все ко мне, например с булками, с сухарями... варенье, то, другое... Думаю: что за чудо! Ем, пью... «Этого не угодно ли?» – «Позвольте, отчего же»... Провожу так вечер, ухожу домой. Что за чудо?.. На Кирики и Улиты входит горничная. «Господин певчий дома?» – «Дома». – «Барыне скучно... просят на минутку»... Вхожу: водка... «Я, говорит, узнала, какую ты любишь, такой и купила...» Пью. Гляжу – что дальше? Закрывают ставни, остаемся впотьмах; старушка эта сама меня за руку... Ей-ей. Околеть – не вру. Сейчас берет за руку, говорит: «Когда тебе что нужно, говори мне... Я знакома... Я могу». И за руку! Что ей, этой барыне, в ум зашло, – не могу вам сказать... Главная задача, может, ей что в лице моем?.. Или, как в то время я был молод, волоса, по совести сказать, черные, в кружок, может быть, что-нибудь ей показалось, но в том история, что я, как был выпивши, забираю себе в голову одну пакость: уходя, даю горничной монету и говорю: «Какое обо мне будет слово сказано, – помни». – «Слушаю-с». Наутро встречаю: «Что?» – «Ничего». Вечером приходит: «Господин певчий дома?» – «Дома». – «Пожалуйста». Вхожу, изловчаюсь к ручке, маменькой зову. «Здравствуйте, маменька. – Маменька, не прикажете ли чего?» Все исполняю. «Певчий, поди сюда»... Иду. «Послушай, певчий, садись здесь». Сажусь. «Ца-

луй!» Цалую. «Ступай вон!» Иду. Все благовидно. Замечаю ее расположение, выбираю день, говорю:

«— Маменька, как мне быть, — деньги у меня пропали казенные, теперь я в Сибирь.

«— Ах боже мой!

«— Что мне делать?

«— Возьми, возьми, сколько?

«— Да как же это... (Между прочим, беру.)

«Вижу ее любовь ко мне и по этому случаю думаю: как бы? Соображаю:

«— Что, маменька, хочу я погадать у одной бабы, в Осиновой горе, любит ли меня жена?..

«— Ах, погадай, погадай.

«— Право-с! Только надо золотой...

«— На, сделай милость.

«Беру деньги, сажусь на извозчика, — пошел! Прихватишь, бывало, на дороге в кабаке ведро водки, отъедешь по Воронежскому тракту версты две-три, — стой! Распрягай, извозчик... Сейчас костер, песни... Идут мужики, прохожие: «Эй, друзья, сюда, подходи, пей!..» То есть, боже мой, что тут натворишь только!..

«Вышли деньги, вхожу.

«— Что?

«— Гадал... Ответ завтра; нужно еще красную.

«— Возьми...

«Выхожу за ворота: «Извозчик!..»

«Продолжаю так, елико возможно... Вижу, барыне самой туго пришло. Принимаюсь одежду закладывать, – нашла она мне её – страсть... Барыню же, между прочим, жалею, но не хожу к ней... Случилось, напился я. Входит горничная:

«– Господин певчий дома?»

«Я развернулся да ка-ак двину ее... Тем и кончилось».

Как ни продолжительна была эта оргия, но Никитичу пришлось все-таки возвратиться в дом свой и очнуться... Чем больше отрезвлялся он, тем все в большем количестве выступали следы его безобразий, – в квартире не было ни одного целого стекла, рамы состояли из обрезочков, склеенных бумагой или просто заткнутых подушкой, тряпкой; жена еле двигалась, от множества вывихов и переломов, перевязанных разными тряпками, она охала и заливалась слезами, рассказывая, как он, Никитич, будучи не в своем виде, сгребал ни с того, ни с сего целую кучу посуды и грохал ее обземь; как перетаскал в кабак все платье, и даже ризу с венчального образа содрал, как огорошил ее, несчастную жену, по голове, тогда как она только и сказала-то всего, что: «Запирай дверь!» – и т. д. Не возражал Никитич, потому что был трезв, потому что был виноват. Горько ему было теперь вдвойне.

А мирная, гнилая жизнь шла себе потихоньку, и там, где в пьяном виде Никитич находил возможным только раскроить ту или другую рожу, отшлифованную множеством грошовых добродетелей, там теперь в трезвом виде что-то стыдило его.

Тайна все-таки была не разгадана, потому что ее могла разгадать только деревня; искаженные под разными наносными влияниями городские нравы не давали пищи его здоровой, еще не затронутой природе. Так называемая *среда*, как видно, стояла перед ним с закрытым ртом и не думала *заедать* его: он, не умея жить *по-ихнему*, проклял себя, старался подладиться, понять что-нибудь – и, не понимая, чахнул; при всем самом упорном ломании своей головы насчет способа к своему спасению, он теперь и выдумать-то не мог ничего, кроме следующего:

– Просто надо прошение подать владыке, в дьякона. Докуда так-то мыкаться?.. По крайней мере будут знать тогда, что я такое... Живут же люди?

Начинались хлопоты. Ради будущего счастья, которое на этот раз, как и во время женитьбы, казалось несомненным, Никитич на коленях умолял владыку...

– Помедли, – говорили ему, – повремени, потерпи. Медлил, временил и, наконец, осмелился заикнуться:

– Докуда ж это?..

– Но не скоро, – ответили ему.

Никитич уходил и пьянствовал с горя: счастию мешают. Дело ясное. Наконец давали ему это счастье, и через две-три недели Никитич снова убеждался, что дрянь дело, что новое положение все-таки не дало ему жизни. Он не сознавал этого отчетливо, но томился пустотой и считал единственным исходом из этого мертвого царства – водку.

Снова срывался, снова падал и снова решал:

– А вот что, – безо всяких разговоров: надо подать владыке *прошение* на приход, в село... Это дело-то попрочней будет... По крайней мере сам хозяин, – и т. д.

А деревня, в которую наконец-таки попал он, и рада бы радешенька была приютить свое любимое детище, но уже на Никитиче, незаметно для него, лежала уродующая печать уродовских нравов города. Никитич теперь уже *не мог* разглядеть своего спасения. Настал длинный период сплошных безобразий; и хлеб, начавший гнить *на корню*, – догнивал. Дело под конец пошло путем разных судебных инстанций, при посредстве станowych, понятых, на основании пунктов и статей...

III

День

Небо незаметно очистилось от туч, и, несмотря на то, что было почти так же темно, что исчезла только миллионная доля ночных теней, можно было убедиться, что дело идет к свету. Становилось свежее; за окном завозился и застучал головой в клетку перепел. Прошло еще немного времени, и перепел крикнул, раз и два. Семен Матвеич вскочил с своего войлока и тотчас же высунулся в окно; почесывая то ногу, то спину, он глядел направо и налево и говорил про себя: «Э... э... э... пора, пора, пора»...

Постояв еще среди комнаты, он зевнул раза три залпом, не переставая, вздрогнул от холода, лениво надел сапог и, осторожно ступая на цыпочках, шарил растопыренными руками сюртука...

— Где это я его давича ткнул, — шептал он, хлопая и шаркая ладонями по полу... — Во-во-во... Э-э, батюшка, да вы не спите?

— Нет.

— Знаете, что я вам скажу? Пойдемте-ка мы на перепелов! Вы посмотрите, какая прелесть-то! а? Ей-богу... Одевайтесь, теперь самая пора... три часа... куда теперь спать?.. Какой сон?..

Семен Матвеич сыпал такого рода фразы до тех пор, пока мы оба не были совершенно готовы и не вышли в сени. Здесь вверху над срубом виднелась почерневшая труба, жерди с тряпками, сплюснутые березовые веники. По углам, в плетенных из соломы лукошках, сидели, съезжившись, куры и ворчали чуть слышно спросонок.

– Куда? – раздалось с полу...

Семен Матвеич нагнулся.

– Отец дьякон?

– Я. Что, друзья, глаз сомкнуть не могу...

– Что так?

– Да вы послушайте, что это такое...

Издали слышался свирепейший, ожесточенный храп Медникова.

– Ведь это как угодно! – говорил дьякон, сердито завертываясь с головой в овчинный тулуп.

Улыбаясь потихоньку, Семен Матвеич вытащил из какой-то трещины между бревнами перепелиные дудки и сети, и мы вышли. На топком дворе валялось перевернутое корыто; кучами лежали и похрюкивали от холода маленькие пестрые поросята, стараясь сдвинуть головы в одно место. Под сараем спали овцы, из которых некоторые, заслышав стук двери, подняли головы и заблеяли...

Отворив скрипучие ворота, зацеплявшиеся за землю, мы очутились на узенькой тропинке между высокими конопляниками. Тропинка шла к реке, куда прежде всего сбежал Се-

мен Матвейч, чтобы посмотреть, есть ли что-нибудь в верше, которую он поставил вчера. Оказалось, что ничего нет, и опытный в деревенских нравах глаз Семена Матвейча убедил его, что было что-то, но украдено.

– Экие храпаидолы, – говорил он, взлезая на берег и направляясь потом в рожь.

Начинало светлеть.

Над неподвижной, сонной рекой висело какое-то разорванное, жиденькое облачко тумана; вдали шумела вода на плотине у мельницы, звуки мужичьих дудок доносились откуда-то издалека и тотчас же надолго замолкали. Тишина была поразительная: казалось, все спало сладким утренним сном, все, начиная от верхушек леса, от едва мигавших звезд – до последнего колоса ржи, до последней только еще вылезающей на свет божией травки. И когда наши ноги, поминутно врезывавшиеся в рожь, безжалостно валяли и мяли целые полосы ее колосьев, то казалось, что эти спящие колосья точно так же вздрагивали во сне, как вздрагивает ребенок, которому приснилось, что он упал с горы или с моста в воду...

Семен Матвейч оживился, он шел бодро, поднимая голову и легко работая ногами.

– Экая прелесть! – говорил он, вдыхая полной грудью утренний воздух. – А? ведь это что такое? Благодать!..

Потом вдруг нагибался над черным лоскутом вспаханной земли, присматривался и говорил:

– Каково? Гречиха-то? Как поперла!.. У-у-у!.. Посмотри-

те-ка... От-лично, то есть просто великолепно...

В стороне крикнул перепел. Семен Матвеич замолк, присел и, поднимая палец, тянул:

– Цссссс...

В то же время ползком пробирался в рожь, осторожно раскинул сетку по верхам колосьев, снял и положил около себя шапку и, стоя на коленях, слегка потрогивал дудку. Перепел шел на свидание.

– Вот болван-то! – шептал Семен Матвеич и вдруг замал руками, крикнул и швырнул шапку на середину сетки.

Перепел, однако, перепорхнул в другую полосу и ушел.

– Ну, счастлив твой бог, – заключил Семен Матвеич, собирая сетку. И начались снова долгие, утомительные походы по полям.

Солнце между тем начало понемногу высовывать свой золотой край и скоро, каким-то продолговатым кругом, очертилось вполне. С порывистыми, на секунду совершенно прекращавшимися движениями поднималось оно по небу, дрожало, волновалось, и теплые, слишком теплые лучи его так приятно пригревали человека, что его невольно охватывала самая сладкая дремота.

Ноги вяло брели вперед, глаза смыкались, я все больше и больше отставал от товарища.

– Э-э, батюшка, – кричал Семен Матвеич, остановившись вдали. – Так-то?.. Стало быть, уж и домой?..

– Домой, – сказал я.

Легионы самых назойливых и надоедливых мух заставили меня открыть глаза. Семен Матвейч набивал у окна папиросу и говорил:

– Долгонько-с, долгонько... Пора. Не годится...

Скоро мы оба были на крыльце. Стоял жаркий летний полдень. Лытовка блистала теперь во всей своей красоте: по обеим сторонам шоссе тянулись постоянные дворы с красивыми крыльцами, наверху которых, под пересекавшимися краями крыши, были прибиты четырехугольные новые вывески, по синему фону золотыми буквами. Такими вывесками украшался почти каждый постоянный двор. Кроме того, в деревне было два-три грязных трактира для почтовых ямщиков и фабричных с ближних суконных заводов. Вывески у трактиров были тоже новые, но на них не было надписей вроде: «Венеция», «Неаполь», а красовались совершенно новые, отечественные слова: «Кружало покровское», «Друзья-приятели», «Пей-ко, сноха!», «Спасибо, батюшка» и т. д. Прямо против нас, на противоположной стороне дороги, возвышался длинный шест, к верхушке которого была привязана трубка и огромный пук розог, – то есть не курить.

Справа, на камнях, служивших ступенями крыльцу, сидел плотный дворник с красным лицом, маленьким клочком бороды, в одной рубахе, босиком и в теплом плисовом пожел-

тевшем картузе. Делать ему было ровно нечего; он глазел по сторонам, зевал, снимал картуз и тотчас же надевал снова, поправляя его кивком головы.

Мимо идет маленькая, трехлетняя девочка.

– Здластуйте, дяденька...

– Здравстуй, здравстуй, любезная, – говорит дворник. – Куда бежишь?

– Домой...

– Домо-ой? Н-да-а... За что ж это так домой-то?

– Нада...

– Да-да-да, – надобно... Вот так умница! Стало быть, требуется? Так!.. Ну, что же, башмаки-то сшили?

– Нет еще...

– Еще не сшили? Скажите на милость...

Девочка припала плечом к углу крыльца, смотрела в землю и, упершись пальцем в дерево, вертела им, словно штопором, и говорила:

– Еще не готова...

– Цсссс... Ах, разбойники! Да что же это они... А ты вот что, Дуняшь... Поди-кось сюда, поди... Ты вот как: пойдешь ты к Петру Петрову, скажи ему: Иван, мол, Иваныч приказывал хоррошие башмаки сшить...

– Сказу...

– Скажи, мол, приказывал, чтобы мне башмаки в лучшем виде... Ах вы, мол, разбойники этакие!.. Деньги брать ваше дело... Нешто так можно? Рази, мол, это годится?

– Сказу...

– Чтоб за первый сорт башмаки были... Мол, Иван Иваныч приказывал – строго... Чтобы живо... Так и скажи: Ах вы, анафемы! – и т. д.

Посреди улицы, то есть шоссе, двигалась целая толпа коротконогих, с низким брюхом и огромными головами, деревенских мальчишек, прижав ко рту кулаки с притиснутой внутри их травой, они оглашали воздух самыми пронзительными звуками. Дворник обратил внимание и на них.

– Эй ты, рыжий... Федька? Поди сюда!

Федька подбежал.

– Что это, ребята, дивлюсь я, попусту вы горланите? Напегонки, что ли бы... или как-нибудь... А то что ж без толку-то?..

Ребята становились честь-честью в шеренгу; в качестве лошадей принимались ржать, толкать друг друга коленом в бок – то есть бить задом, и все запаслись длинными хворостинками, приготавливаясь погонять лошадей, то есть себя.

– Н-но? – спрашивал дворник, – готово? Раз, два... пушай!

Ребята сразу огорошивают себя хворостинками по ногам и бросаются вперед стремглав, скашивая набок голову и скидывая ногами в сторону.

По шоссе мчался тарантас с заливавшимся колокольчиком.

– Не хотите ли, – сказал Семен Матвейч: – пройти тут

недалеко – в контору... к лесникам?

– Пойдемте.

В сених встретился дьякон, он стоял против жены, грозил ей пальцем и шопотом говорил:

– Так смотри же – ни капли! То есть ни единой росинки... Нету, да и только... как угодно... Выпьет рюмку, его не удержишь... Просто-напросто, – мол, ни денег нету, ни послать никого... н-н-нельзя...

– Все опасаюсь за Никитича, – добавил он, обращаясь к нам.

Мы пошли через огород.

В тени низенького, расплюснутого сарая лежал Никитич в расстегнутом полукафтаные, открывавшем грязную, потную узенькую рубаху. Он был совершенно трезв – причесан, конфузлив и молчалив. Года научили его прятать эту конфузливость под каким-то насильственным смехом, который, впрочем, сразу давал знать, что ему вовсе не смешно... Дьякон, разъяснявший эту конфузливость и молчаливость желанием выпивки, старался отвлечь мысли Никитича от такого соблазнительного предмета и поэтому занимал самыми разнообразными разговорами: то начинал он рассказывать содержание какой-то превосходной проповеди, в которой он как на грех забыл всю середку, то заводил речь о какой-то битве с поляками, причем тоже плохо помнил, в чем дело. Но скоро истощился предмет разговоров, и настало тупое молчание.

Никитич лежал и молча гладил рукою волосы назад; глаза

его, смотревшие в сторону, были как-то упорно вдумчивы.

– А что, отец дьякон, – произнес он вдруг, как бы вследствие долгой, решившейся только теперь думы: – что я вас хочу спросить: как вы посоветуете? хочу я владыке *прошение* подать...

Дьякон соображал...

– По крайней мере, что-нибудь уж одно... хоть бы знать, что я такое?.. Ей-богу...

– Что ж, прошение – ничего, – подумав, вяло заключил дьякон...

Мы постояли еще здесь с минуту и пошли в контору.

Примечания

Очерк печатается по сборнику: «Глушь», СПб., 1875. Впервые был напечатан в журнале «Современник», 1865, X. При переиздании его в сборнике «Очерки и рассказы», СПб., 1866, Успенский подверг очерк очень значительной правке стилистического характера и большим сокращениям, особенно в начале первой главы, где было вычеркнуто все описание путешествия рассказчика по дороге в село Лытовка. Однако правка текста очерка не была доведена писателем до конца; так, например, из-за сокращения начала первой главы, в которой автор описывает встречу с пьяным путником, остаются непонятными слова: «я узнал странную фигуру одного пешехода, который попался мне на большой дороге» (стр. 490). При перепечатке очерка в сборнике «Глушь» Успенский еще раз сократил и выправил его.

«Деревенские встречи» – первое произведение писателя, принятое Некрасовым к напечатанию в «Современнике», вторым были «Нравы Растеряевой улицы». В рассказе Успенского изображены среда провинциального духовенства и по-своему протестующий против этой среды дьякон Медников. Подобно другим писателям-демократам того времени – Н. Успенскому, А. Левитову и др., Успенский показывает невежество, неразвитость и стяжательство служителей религиозного культа. Недаром этот очерк привлек

внимание цензуры. «В рассказе «Деревенские встречи», – пишет цензор, – содержится, во-первых, кощунство над священным писанием, над верою в будущую жизнь и над церковным богослужением и, во-вторых, оскорбляется священнослужительское звание». Вероятно, из боязни дальнейших осложнений с цензурой Успенский не поместил очерк ни в одном из изданий своих «Сочинений».

Повидимому, очерк «Деревенские встречи» возник на основе детских воспоминаний Успенского. Прототипом Никитича послужил, вероятно, дядя писателя, дьякон Г. Я. Успенский, о чем свидетельствует и сам автор в письме к родителям (середина января 1864 года): «Пишу в «Современник» историю Григория Яковлевича» (см. об этом и в воспоминаниях дяди Г. И. – «Русское богатство», 1894, VI).